



1856–1919

«Счастливую и великую Родину любить — не велика вещь. Мы ее должны любить, именно когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно когда наша “Мать” пьяна, жжет и вся запуталась в грехе — мы и не должны отходить от нее».

В. В. Розанов

классика в кармане

В. В. РОЗАНОВ

классика  
в кармане

Уединенное

В. В. РОЗАНОВ

Уединенное

«Литературный дар его [Розанова] был изумительный, самый большой дар в русской прозе».

Н. А. Бердяев

«Для своей собственной эпохи Розанов был своего рода гениальным скандалом, устроенным в мире нравственности и религии очень изысканно и утонченно».

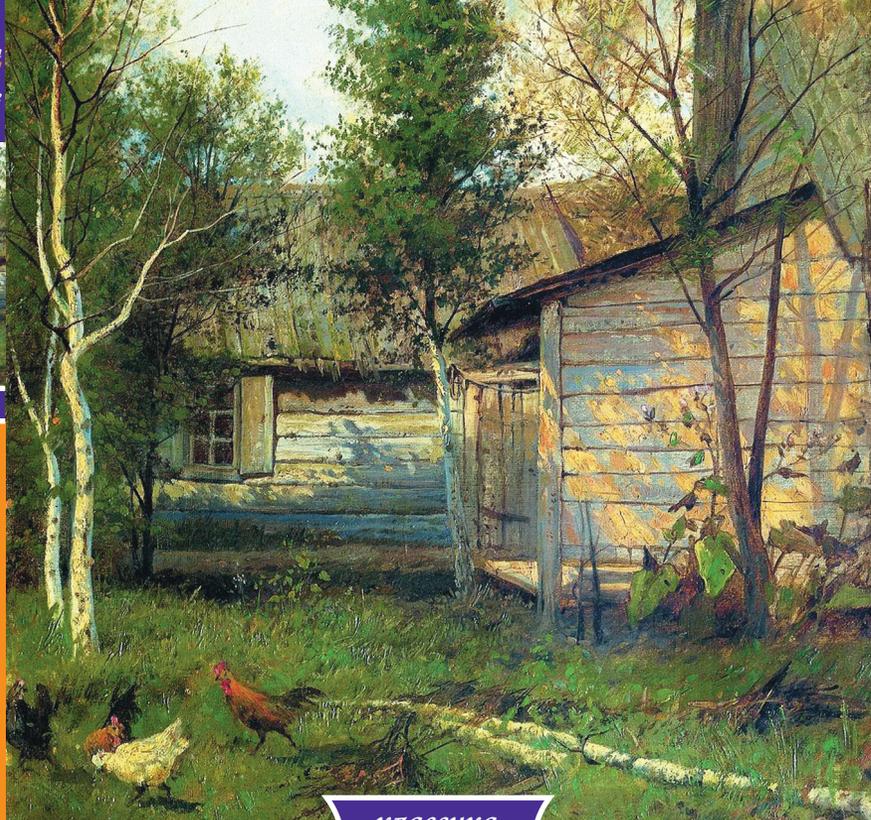
Вл. Соловьев

www.bmm.ru

www.trade.bookclub.ua



классика  
В  
кармане



классика  
в кармане

В. В. РОЗАНОВ

Уединенное



*классика  
в кармане*

**В. В. РОЗАНОВ**

---

*Уединенное*



Москва

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос)  
Р64

## Проект Д. Е. Веселова

Текст печатается по изданию:

Розанов В. В. Опавшие листья : Лирико-философские записки / сост.,  
вступ. ст. А. В. Гульги. — М. : Современник, 1992.

Вступ. статья печатается по изданию:

Гиппиус З. Живые лица. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2011.

Комментарии печатаются по:

Гиппиус З. Задумчивый странник. О Розанове // Электронная  
библиотека русской религиозно-философской и художественной  
литературы «ВЕХИ», 2000; <http://www.vehi.net>

Вступительная статья З. Н. Гиппиус

В оформлении обложки использован фрагмент картины

И. И. Левитана «Солнечный день. Весна»

Иллюстрации — репродукции с картин: Л. С. Бакста «Портрет писателя  
В. В. Розанова (с. 5), И. И. Левитана «Осень» (с. 57),  
К. А. Коровина «Ранняя весна» (с. 74), А. Н. Шильдера «Ручей» (с. 114),  
С. А. Виноградова «Старая церковь» (с. 153)

Литературно-художественное издание

Серия «Классика в кармане»

РОЗАНОВ Василий Васильевич

**Уединенное**

Дизайнеры обложки *Т. Н. Коровина, Я. В. Крутий*  
Дизайнер-верстальщик *Е. М. Залипаева*

Подписано в печать 20.02.2013. Формат 76x100/32.

Усл. печ. л. 8,44. Тираж 3000 экз. Заказ №

ЗАО «БММ», г. Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 1А. Тел. (495) 984-35-23;  
e-mail: [office@bmm.ru](mailto:office@bmm.ru)

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 61140, Харьков-140,  
пр. Гагарина, 20а; e-mail: [sop@bookclub.ua](mailto:sop@bookclub.ua). Св. № ДК65 от 26.05.2000

Отпечатано с готовых диапозитивов на ЧП «ЮНИСОФТ»

Свидетельство ДК № 3461 от 14.04.2009 г.

[www.ttornado.com.ua](http://www.ttornado.com.ua)

Украина, г. Харьков, ул. Морозова, 13Б



ISBN 978-5-88353-475-0 (серия)  
ISBN 978-5-88353-534-4 (БММ)  
ISBN 978-966-14-5065-2 (КСД)

© Библиотека «Вехи», комментарии,  
2000  
© Nemiroltd, 2013  
© ЗАО «Фирма Бертельсманн Медиа  
Москва АО», 2013  
© Книжный Клуб «Клуб Семейного  
Досуга», 2013

## ***Задумчивый странник*** ***О Розанове***

«Странник, только странник, везде  
только странник»...  
«Иду. Иду. Иду... Даже “несет”, а не иду».  
Что-то «стихийное, а не человеческое».  
«Во мне есть чудовищное: это моя  
задумчивость».

*В. Розанов. Уединенное*

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## **1. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ**

Что еще писать о Розанове?

Он сам о себе написал.

И так написал, как никто до него не мог и после него не сможет, потому что...

Очень много «потому что». Но вот главное: потому что он был до такой степени не в ряду других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать «явлением», нежели «человеком». И уж никак не «писателем», — что он за писатель! Писанье, или, по его слову, «выговариванье», было у него просто функцией. Организм дышит, и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал, — «выговаривал» — все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально.

Писанье у писателя — сложный процесс. Самое удачное писанье все-таки *приблизительно*. То есть между ощущением (или мыслью) самими по себе и потом этим же ощущением, переданным в слове, — всегда есть расстояние. У Розанова нет: хорошо, плохо — но то самое, оно, само движение души.

«Всякое движение души у меня сопровождается *выговариванием*», — отмечает Розанов и прибавляет просто: «Это — инстинкт».

Хотя и знает, что он не как все, но не всегда понимает, в чем дело. И, сравнивая себя с другими, то ужасается, то хочет сделать вид, что ему «наплевать». И отлично, мол, и пусть, и ничего скрывать не желаю. «Нравственность? Даже не знал никогда, через “Ъ” или через “е” это слово пишется».

Отсюда упреки в цинизме. Справедливые — и глубоко несправедливые, ибо прилагать к Розанову общечеловеческие мерки и обычные требования по меньшей степени неразумно. Он есть редкая ценность, но, чтобы увидеть это, надо переменить точку зрения. Иначе ценность явления пропадает, и Розанов делается прав, говоря:

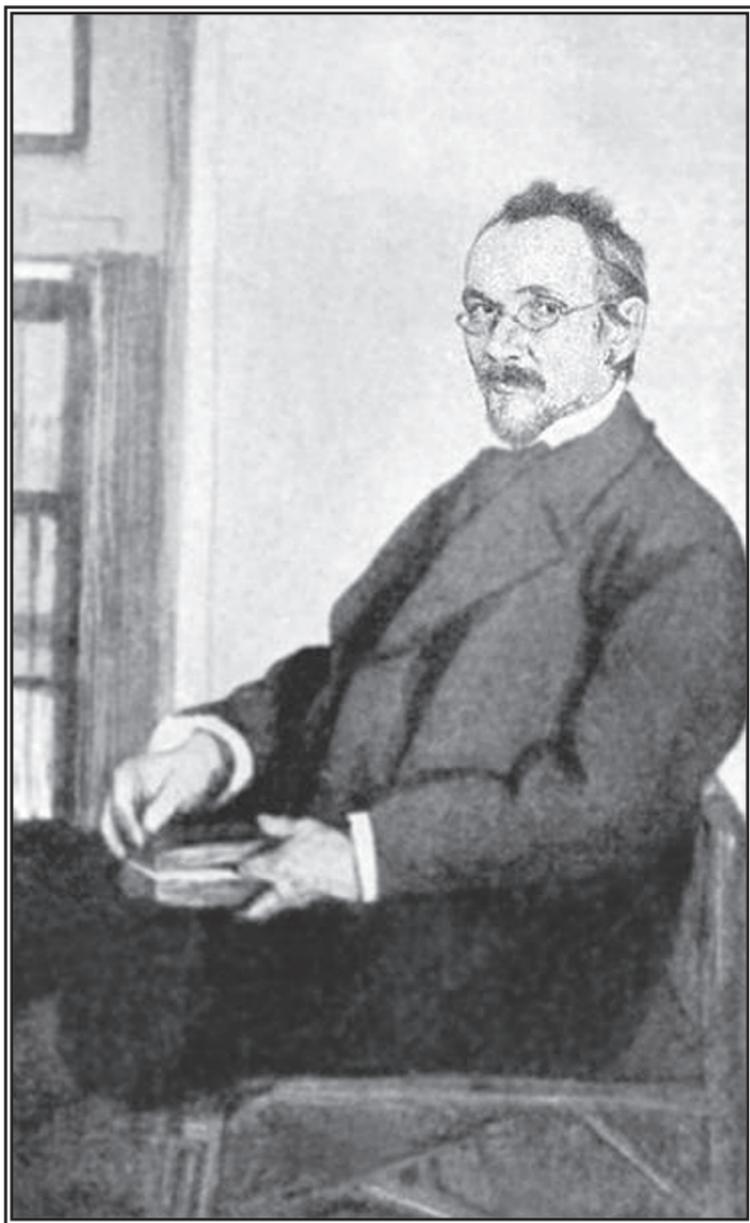
«Я не нужен, ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен».

Он, кроме своего «я», пребывал еще где-то *около себя*, на ему самому неведомых глубинах.

«Иногда чувствую чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит. Я каменный. А камень — чудовище...

...В задумчивости я ничего не мог делать. И с другой стороны все мог делать (“Грех”). Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и все вокруг меня».

Но, конечно, присутствовало в Розанове и «человеческое». Он говорит и о нем с волшебным даром точности во-



*В. В. Розанов*

площения в слова. Он — явление, да, но все же человеческое явление.

Объяснять это далее — бесцельно. Розанова можно таким почувствовать, вслушиваясь в его «выговариванье», всматриваясь в его «рукописную душу». Но можно не почувствовать. И уж тогда никакие объяснения не помогут: Розанов действительно делается «не нужен».

Я буду, помня об этой, ясной для меня, розановской исключительности, говорить, однако, о нем — *человеке*, о том, каким он был, как он жил, об условиях, в каких мы встречались. Иногда буду прибегать к самому Розанову, к его записям о себе, — ведь равных по точности слов не найдешь.

Больше я ничего не могу сделать.

Жаль, нет у меня здесь ни писем его, ни ранних, ни предсмертных. И даже из книг его (воистину «рукописных», как он любил их называть) всего лишь две: «Уединенное» и I том «Опавших листьев».

## 2. ВЕСНОЙ

Зеленовато-темным апрельским вечером мы возвращаемся в первый раз от Розанова, по дощатым тротуарам глухой Петербургской стороны. Розанов жил тогда (в 1897? или 98?) на Павловской улице, в крошечном домике.

Только что прошел дождь, разорванные черные облака еще плыли над головой, доски и земля были влажны, и остро пахли весной едва распустившиеся тополевые листья, молодые (так остро пахнут они только в России, только на севере).

— Да... Вот весна... Весна!— сказал Философов (он был с нами у Розанова, и еще кто-то был).

Мы все думали молча о весне и потому не удивились.

— Весна. «Клейкие листочки»... А что же вы скажете о Розанове?

И заговорили о Розанове.

Решительно не помню, кто нас с ним познакомил. Может быть, молодой философ Шперк (скоро умерший). Но слы-

шали мы о нем давно. Любопытный человек, писатель, занимается вопросом брака. Интересуется, в связи с этим вопросом (о браке и деторождении), еврейством. Бывший учитель в провинции (как Сологуб).

У себя, вечером, на Павловской улице, он показался нам действительно любопытным. Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, худощавый, суетливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользяще, не громко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала *интимность*. Делала каким-то... шепотным. С «вопросами» он фамильярничал, рассказывал о них «своими словами» (уж подлинно «своими», самыми близкими, точными, и потому не особенно привычными. Так же, как писал).

В узенькой гостиной нам подавала чай его жена, бледная, молодая, незаметная. У нее был тогда грудной ребенок (второй, кажется). Девочка лет 8–9, падчерица Розанова, с подтянутыми гребенкой бесцветными волосами, косилась и дичилась в уголку.

Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость.

Ведь вот, и наружность, пожалуй, чиновничья, «мизерабельная» (сколько он об этой мизерабельной своей наружности говорил, писал, горевал!), — а какой это, к черту, контрольный чиновник? Просто никуда.

Не знаю, каким он был учителем (что-то рассказывал), — но, думается, тоже никуда...

### 3. ВСЕГДА НАЕДИНЕ

Кажется, с 1900 года, если не раньше, Розанов сближается с литературно-эстетической средой в Петербурге. Примкнул к этой струе? Отнюдь нет. Он внутренне «несклоняемый». Но ласков, мил, интересен — и понемногу становится желанным гостем везде, особенно у так называемых «эстетов». Дружит с кружком «Мира Искусства», быстро тогда расцветшего.

И к нам захаживает Розанов постоянно. Между прочим, нас соединял и молодой соловьевец Перцов, большой поклонник Розанова. Перцов — фигура довольно любопытная. Провинциал, человек упрямый, замкнутый, сдержанный (особенно замкнутый потому, может быть, что глухой), был он чуток ко всякому нарождающемуся течению и обладал недюжинным философским умом. Сам, как писатель, довольно слабый, — преданно и понятно любил литературу, понимал искусство.

Как они дружили, — интимнейший, даже интимничающий со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов? Непонятно, однако дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: «Голубчик, голубчик, да что это, право! Ну, как вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится, на ушко шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом».

Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои, — не сердился, не отвечал.

С другим человеком, еще более сдержанным, каменным (если Перцов был деревянный), вышло однажды у Розанова, в редакции «Мира искусства», не так ладно.

Постоянное «ядро» редакции, тесно сплоченный дружеский кружок, были: Дягилев, Философов, Бенуа, Бакст, Нувель и Нурок (умерший). Около них завивалось еще множество людей, близких и далеких. По средам в редакции бывали собрания, хотя и не очень людные: приглашали туда с выбором. Розанову эта «нелюдность» нравилась. Он, впрочем, везде был немножко один, или с кем-нибудь «наедине», то с тем — то с другим, и не удаляясь, притом, с ним никуда: но такая уж у него была манера. Или никого не видел, или, в каждый момент, видел кого-нибудь одного и к нему обращался.

Ни малейшей угрюмости; веселый, даже шаловливый, чуть рассеянный взгляд сквозь очки, и вид — самый общительный.

В столовой «Мира искусства», за чаем, вдруг привязался к Сологубу, с обычной каменностью молчащему.

Между Сологубом и Розановым близости не было. Даже в расцвете розановских «воскресений», когда на Шпалерную ходили решительно все (вот уж без выбора-то!), — Сологуба я там не помню.

Но для коренной розановской интимности все были равны. И Розанов привязался к Сологубу.

— Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас — и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке!

Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес, монотонно, холодно и явственно:

— А я нахожу, что вы грубы.

Розанов осекся. Это он-то, ласковый, нежный, — груб! И, однако, была тут и правда какая-то; пожалуй, и груб.

Инцидент сейчас же смазали и замаяли, а Розанов, конечно, не научился интимничать с выбором: интимность была у него природная, неизлечимая, особенная — и прелестная, и противная.

#### 4. НАИМЕНЕЕ РОЖДЕННЫЙ

Вот, сидит утром в нашей маленькой столовой, в доме Мурузи, на Литейном, — трясет ногой (другую подогнул под себя) и что-то пишет на большом листе — мелко-мелко, непонятно, — если не привыкнуть к его почерку. Старается все уместить на одной странице, не любит перерачивать.

Это он забежал с каким-то спешным делом, по Религиозно-философским собраниям, что-то нужно кому-то ответить, возразить, или к докладу заседания что-то прибавить... все равно.

Сапоги у него с голенищами (рыжеватыми), с толстыми носами. Брюки широкие, серенькие в полоску. Курит все время — набивные папиросы, со слепыми концами. (По воскресеньям, за длинным чайным столом, у себя, где столько всякого народу, набивает их сам. Сидит на конце стола, спиной к окнам, и тоже подогнув ногу.)

Давно присмотрелись мы к его лицу, и ничего уже в нем «мизерабельного» не находим. Кустиками рыжевато-белокурая бородка, лицо ровно-красноватое... А глаза вдруг такие живые и плутовские — и задумчивые, что становится весело.

Но Розанов все не может успокоиться и часто повторяет: — Ведь мог бы я быть красив! Так вот нет: учительишка и учительишка.

Потом он это и написал (в «Уединенном»).

«Неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал... перед зеркалом»... «Сколько тайных слез украдкой пролил. Лицо красное. Волоса... торчат кверху... какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо, и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все — не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало: “Ну, кто такого противного полюбит? Просто ужас брал”. «...В душе думал: женщина меня *никогда не полюбит*, никакая. Что же остается? *Уходить в себя, жить с собою*, для себя (не эгоистически, а духовно), *для будущего...*»

Он прибавляет, однако, что «теперь» это все «стало ему даже нравиться»: и что «Розанов» так «отвратительно», и что «всегда любил худую, заношенную, проношенную одежду».

«Да просто я не имею формы... Какой-то “комочек” или “мочалка”. Но это от того, что я весь — дух... Субъективное... развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого». «И отлично... Я “наименее рожденный человек”, как бы “еще лежу (комком) в утробе матери”... и “слушаю райские напевы” (вечно как бы слышу музыку, — моя особенность). И “отлично! Совсем отлично!” На кой черт мне “интересная физиономия” или еще “новое платье”, когда я сам (в себе, комке) бесконечно интересен, а по душе — бесконечно стар, опытен... и вместе — юн, как совершенный ребенок... Хорошо! Совсем хорошо...»

С блестящей точностью у Розанова «выговаривается» (записывается) каждый данный момент. Пишет он — как го-

## УЕДИНЕННОЕ

### *Почти на праве рукописи*

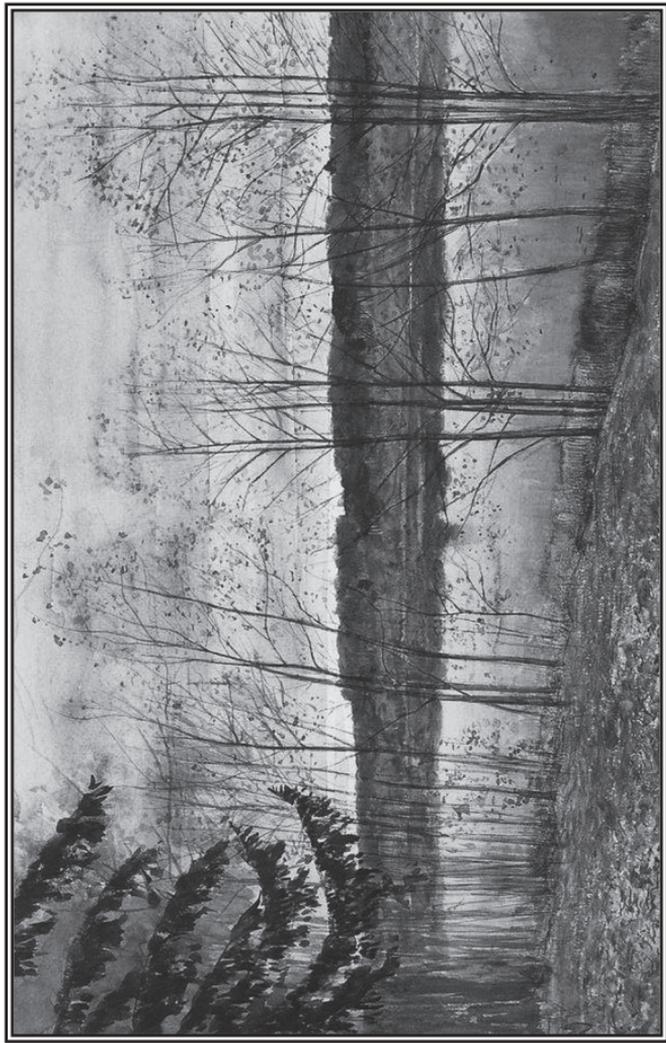
Шумит ветер в полночь и несет листы... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, получувства... Которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что «сошли» прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья, — без всего постороннего... Просто, — «душа живет»... т. е. «жила», «дохнула»... С давнего времени мне эти «нечаянные восклицания» почему-то нравились. Собственно, они текут в нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) заносить, — и они умирают. Потом ни за что не припомнишь. Однако кое-что я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось. И вот я решил эти опавшие листы собрать.

Зачем? Кому нужно?

Просто — мне нужно. Ах, добрый читатель, я уже давно пишу «без читателя», — просто потому что нравится. Как «без читателя» и издаю... Просто так нравится. И не буду ни плакать, ни сердиться, если читатель, ошибкой купивший книгу, бросит ее в корзину (выгоднее, не разрезая и ознакомившись, лишь отогнув листы, продать со скидкой 50% букинисту).

Ну, читатель, не церемонюсь я с тобой, — можешь и ты не церемониться со мной:

— К черту...



*Шумит ветер в полночь и несет листья... Так и жизнь в быстротечном времени  
срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, полужества...*

— К черту!

И au revoir<sup>1</sup> до встречи на том свете. С читателем гораздо скучнее, чем одному. Он разинет рот и ждет, что ты ему положишь? В таком случае он имеет вид осла перед тем, как ему зареветь. Зрелище не из прекрасных... Ну его к Богу.. Пишу для каких-то «неведомых друзей» и хоть «ни для кому»...

---

Когда, бывало, меня посещали декаденты, — то часу в первом ночи я выпускал их, бесплодных, вперед, — но задерживал последнего, доброго Виктора Петровича Протейкинского (учитель с фантазиями) и показывал между дверями...

У человека две ноги: и если снять калоши, положим, пятерым — то кажется ужасно много. Между дверями стояло такое множество крошечных калошек, что я сам дивился. Нельзя было сосчитать скоро. И мы оба с Протейкинским показывались со смеху:

— Сколько!..

— Сколько!..

Я же всегда думал с гордостью «civis romanus sum».<sup>2</sup> У меня за стол садится 10 человек, — с прислугой. И все кормятся моим трудом. Все около моего труда *нашли место в мире*. И вовсе civis rossicus<sup>3</sup> — не «Герцен», а «Розанов».

Герцен же только «гулял»...

---

<sup>1</sup> До свидания (*фр.*).

<sup>2</sup> Я — римский гражданин (*лат.*).

<sup>3</sup> Русский гражданин (*лат.*).

\* \* \*

Перед Протейкинским у меня есть глубокая и многолетняя вина. Он безукоризненно относился ко мне, я же о нем, хотя только от утомления, сказал однажды грубое и насмешливое слово. И от того, что он «никогда не может кончить речи» (способ речи), а я устал и не в силах был дослушивать его... И грубое слово я сказал *заочно*, когда он вышел за дверь.

\* \* \*

Из безвестности приходят наши мысли и уходят в безвестность.

Первое: как ни сядешь, чтобы *написать то-то*, — сядешь и напишешь *совсем другое*.

Между «я хочу сесть» и «я сел» — прошла одна минута. Откуда же эти совсем другие мысли на новую тему, чем с какими я ходил по комнате, и даже *садился, чтобы их именно* записать...

\* \* \*

Сев задом на ворох корректур и рукописей и «писем в редакцию», М. заснул:

И снится ей долина Дагестана:  
Лежал с свинцом в груди...

Сон нашего редактора менее уныл: ему грезятся ножки хорошенькой актрисы В-ской, которая на все его упрашивания отвечает:

Но я другому отдана,  
И буду век ему верна.

Вопрос вертится, во сне, около того, как же преодолеть эту «Татьянину верность», при которой куда же деваться редакторам, авиаторам, мо-

рякам и прочим людям, не напрасно «копящим небо»?

\* \* \*

Открываю дверь в другой кабинет... Роскошно отделан: верно, генерала М. В кресле, обшитом чудною кожей темного цвета, сидит Боря. Сидит без сюртука, в галстухе и жилете. Пот так и катится... Вспоминает, как пела «Варя Панина» и как танцевала Аннушка. Перед ним длинная полоса набора.

— Ты, Боря, что это читаешь?

— «Внутреннюю корреспонденцию».

— Чего же ты размышляешь? «Одобри» все сразу.

— Нельзя. В номер не влезет.

— Так пошли ее к матери...

.....

— Тоже нельзя. Читатель рассердится.

— Трудное дело редакторское. С кем же мне отправляться?..

*(в нашей редакции).*

\* \* \*

Как будто этот проклятый Гуттенберг облизал своим медным языком всех писателей, и они все обездушились «в печати», потеряли лицо, характер. Мое «я» только в рукописях, да «я» и всякого писателя. Должно быть, но этой причине я питаю суеверный страх рвать письма, тетради (даже детские), рукописи — и ничего не рву; сохранил, до единого, все письма товарищей-гимназистов; с жалостью, за величиной вороха, рву только свое, — с болью и лишь иногда.

*(вагон).*

Газеты, я думаю, так же пройдут, как и «вечные войны» Средних веков, как и «турнюры» женщин и т. д. Их пока поддерживает «всеобщее обучение», которое собираются сделать даже «обязательным». Такому с «обязательным обучением», конечно, интересно прочитать что-нибудь «из Испании».

Начнется, я думаю, с *отвычки* от газет... Потом станут считать просто неприличием, малодушием («*ragva anima*») чтение газет.

— Вы чем живете? — А вот тем, что говорит «Голос Правды» (выдумали же!)... или «Окончательная Истина» (завтра выдумают). Услышавший будет улыбаться, и вот эти улыбки мало-помалу проводят их в могилу.

Если уж читать, то, по моему мнению, только «Колокол», — как Василий Михайлович, подражая Герцену, выдумал издавать свой орган.

Этот Василий Михайлович во всем красочен. Дома (я слышал) у него сделано распоряжение, что если дети, вернувшись из гимназии, спросят: «Где папа», — то прислуга не должна отвечать: «Барина нет дома», а «Генерала нет дома». Это, я вам скажу, если на Страшном суде Христовом вспомнишь, то рассмеешься.

Василия Михайловича я всегда почему-то любил. Защищал его перед Толстым. И что поразительно: он прост, и *со всеми прост*, не чванлив, не горд, и вообще имеет «христианские заслуги».

Неразрешим один вопрос, то есть у него в голове: какой же земной чин носят ангелы? Ибо он не может себе представить ни одного существа без чина. Это как Пифагор говорил: «нет ничего *без своего числа*». А у В. М. — «без своего чина», без положения в какой-нибудь иерархии.

Теперь еще: — этот «генерал» ему доставляет столько бескорыстного удовольствия. России же ничего не стоит. Да я бы из-за одного В. М. не дозволил отменить чинов. Кому они приносят вред? А штафинок довольно, и ведь никому не запрещено ходить с «адвокатским значком». Почему это тоже не «чин» и не «орден»? «Заслужено» и «социальный ранг». Позвольте же Василию Михайловичу иметь тот, какой он желает. Что за деспотизм.

Иногда думают, что Василий Михайлович «карьерист». Ни на одну капельку. Чин, службу и должность он любит как *неотделимое души своей*. О нем глубоко сказал один мудрый человек, что, «размышляя о том, *что такое русский человек*, всегда нужно принять во внимание и Василия Михайловича». То есть русский человек, конечно, не только «Скворцов», но он между прочим — и «Скворцов».

(за нумизматикой).

\* \* \*

«Конец венчает дело»... показывает его силу. Боже, неужели договорить: «и показывает его *правду*»?.. Что же стало с «русской реформацией»?!! Один купил яхту, другой ушел в нумизматику, третий «разлетается по заграницам»... Епископы поспешили к местам служения, и, слышно, вместо былой «благодати» ссылаются на последний циркуляр министерства внутренних дел. Боже, что же это такое? Кое-кто ушел в сектантство, но посылает потихоньку статьи в «Нов. Вр.», не расходясь отнюдь с редакцией в остром *церковно-писательском вопросе* (по поводу смерти Толстого). Что же это такое? Что же это такое?

Казнить?

Или сказать с Тургеневым: «Так кончается все русское»...

(за нумизматикой, 1910 г.).

\* \* \*

Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком...

И все понятно.

И не надо никаких слов.

Вот чего *нельзя с иностранцем.*

(на улице).

\* \* \*

Стоят два народа соседние и так и пылают гневом:

— Ты чему поклоняешься, болван?! — Кумиру, содеянному руками человеческими, из меди и дерева, как глаголет пророк (имярек) в Писании. Я же поклоняюсь пречистым иконам, болван и нехристь...

Стоит «нехристь» и хлопает глазами, ничего не понимая. Но напоследок испугался, снял шляпу, и со всемордовским усердием земно поклонился перед Пречистым Образом и затеплил свечку.

Иловайский написал новую главу в достопамятную свою историю: «Обращение в христианство “мордвы”, “вотяков”, “пермяков”».

Племянник (приехал из «Шихран», Казанской губ.) рассказывал за чаем: «В день празднования вотяцкого бога (кажется, Кереметь), коего кукла стоит на колокольне в сельской церкви, все служители низшие, дьячок, пономарь, сторож церковный, запираются под замок в особую клеть,

## ***Содержание***

*З. Н. Гиппиус.*

*Задумчивый странник. О Розанове* .....3

**Уединенное. Почти на праве рукописи** .....56

*Комментарии* .....171